

# Он чувствовал себя человеком XIX В., эпохи революционного прогрессизма А.Ф. Филиппов рассказывает об отце — Ф.Р. Филиппове

28 сентября этого года исполнилось 90 лет со дня рождения Фридриха Рафаиловича Филиппова (1924-1990).

По возрасту он был несколько старше многих из тех, кого мы считаем создателями современной отечественной социологии, однако в социологию он вошел позже них, когда эта наука, еще не была официально признанной в СССР, но ее институционализация начиналась. Его с полным правом можно отнести к социологам второго поколения. Ф.Р. Филиппов долгие годы работал в Нижнем Тагиле и несомненно относится к создателям "уральской" социологической школы. Но его важнейшие результаты были получены в Москве. Они относятся к ана-

лизу социальной структуры и социальной мобильности в СССР и комплекса проблем социологии образования.

При проведении интервью с социологами я неоднократно обращался к моим собеседникам с просьбой рассказать о своих умерших руководителях, наставниках, коллегах. Но здесь случай иной, о Ф.Р. Филиппове рассказывает его сын, доктор социологических наук, профессор А.Ф. Филиппов. Мне представляется, что сделанное им - это пример сочетания сыновней благодарности и высокого профессионализма в изложении научного наследия социологов первых поколений.

**Борис Докторов**

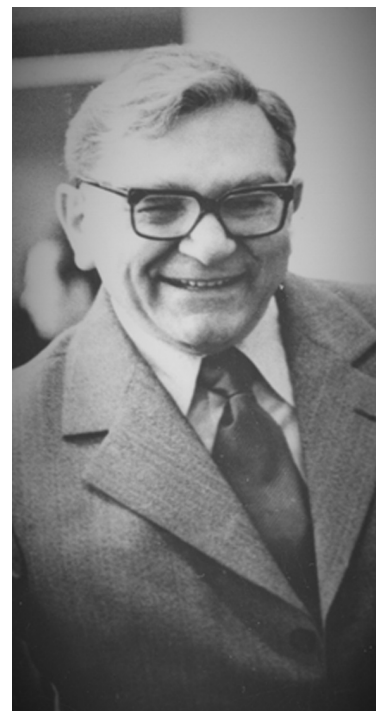
**— Саша, я Вам весьма благодарен за согласие рассказать о Вашем отце — Фридрихе Рафаиловиче Филиппове. Он активно и плодотворно работал в разных направлениях социологии, им много опубликовано, но биографической информации о нем крайне мало. В сентябре этого года исполняется 90 лет со дня его рождения, и у нас есть прекрасный повод поговорить о нем. Замечу сразу, я понимаю, насколько сложно рассказывать о жизни и исследованиях отца... и в информационно-фактологическом плане, и в этическом отношении... но постараемся.**

**Прежде всего, что Вы знаете о его родительской семье, он родился на Урале или судьба забросила его туда? И какова история его нечастого в России имени?**

Отец, Фридрих Рафаилович Филиппов, оказался на Урале в результате типичной для того времени истории. Но есть еще и предыстория! Пару лет назад меня разыскал дальний родственник с Украины, увлекшийся составлением генеалогий. Совместными усилиями нам, кажется, удалось идентифицировать фотографию благообразного старца, которая досталась мне в наследство без подписи и комментариев. Это мой прадед, Зейлик (Захар Ефимович) Ляц. Его дочь, моя бабушка, родилась в Николаеве, но выросла в Одессе, и я до сих пор, примерно, могу показать двухэтажный дом с балконом на задах оперного театра (одесситы называют этот садик "Пале-Рояль"), где она, по словам отца, прожила первые годы. Впрочем, мои воспоминания о воспоминаниях отца — не очень достоверный источник, и кое-что не сходится. Я помню, что бабушка рано осиротела. Она осталась без матери еще младенцем, а потом, лет через десять, и без отца. Что-то не до конца ясно с ее происхождением: про ее мать, кроме имени, не известно ничего. Прадед Захар прожил почти всю жизнь в Николаеве, там же и умер в 1910 г. Он был богат, держал хлебную ссыпку и сотрудничал с крупной немецкой фирмой, торговавшей зерном, был несколько раз женат, и младшие сестры бабушки учились в гимназии. А вот она настоящего образования не получила, закончила Фрёбелевские курсы (названные так по имени немца-педагога), которые готовили воспитательниц для платных детских садов и домашних воспитательниц для маленьких детей в богатых семьях. На семейном сайте есть воспоминания о ней, пожилая родственница говорит, что бабушка работала в Днепропетровске экономистом, но это сомнительно, вряд ли она годилась на что-то большее, чем делопроизводство. Зато она была красавица и вообще, как мне кажется, барыня.

Ее муж, мой дед, происходил из совершенно иного круга. Документальных подтверждений у меня нет, и найти я ничего

не смог, но рассказы отца, в двух словах, сводились к тому, что дед, Рафаил Посецельский, родился в семье рабочего-печатника. В сети я нашел биографию его младшего брата, так что предполагаю, что вначале они жили в Березовке (Ново-Александровке) под Одессой. Учился он, видимо, в реальной школе и учился настолько хорошо, что попал в какую-то, кажется, пятипроцентную квоту для евреев в Одесском Политехническом институте. Там дед проучился совсем недолго, не больше года. Началась гражданская война. Прадед, тот самый рабочий-печатник, говорил отец,



Филиппов Ф.Р.



Филиппов А.Ф.

участвовал в революционном движении, после революции 1905 г. был сослан, а в 1918 г. стал членом Одесского ревкома. Его казнили петлюровцы, дед вступил в партию в 1919 г., был комиссаром продотряда и после войны двигался по партийной лестнице. В детстве я очень гордился такой революционной биографией деда, а теперь рассказываю об этом безо всякого удовольствия, но что было, то было. Никаких свидетельств его деятельности я найти не смог, только несколько официальных документов, вроде пропуска на один из съездов Советов или направления в отпуск в 1926 г. в связи с нервным истощением. Недавно я нашел его детскую фотографию, он в форме реального училища, самый маленький среди товарищей. В 70-е гг. одна родственница пересылала нам групповую фотокарточку, которую я неумело скопировал, на ней дед с маузером, маленькими чаплинскими усиками и какими-то, как мне всегда казалось, бешеными глазами. Когда и как прадед Фишель превратился в Филиппа, я не знаю, но брат и сестра деда по отчеству Филипповичи, правда, лишь он один переименовал также и фамилию и стал Филипповым.

Отец мой родился 28 сентября 1924 года в Одессе. По семейному преданию, два месяца имени у младенца не было, а 28 ноября — день рождения Фридриха Энгельса, так что назвали его по революционным святым. Отец в детстве дружил с двоюродным братом двумя годами моложе его, и звали мальчика тоже Фридрих. Рафаила Филиппова направляли в разные города, я запомнил Харьков и Днепропетровск, где он занимал в обкоме партии приравненную к секретарской должность заведующего отделом. Я много лет пытаюсь найти хоть какие-то упоминания о нем, но нет практически ничего — ни хорошего, ни дурного, словно бы и не было такого человека. О младшем его брате, Леониде Филипповиче Посецельском, можно прочитать, что он был моряком и директором Мурманской судоверфи, младшая сестра, Елизавета, стала инженером-гидрографом (ее сын, известный искусствовед Вадим Знаменов, был хранителем Петергофского музея), а вот здесь — полный провал. Родственница, о которой я упомянул, рассказывает, как в 34 или 35 гг. побывала с матерью в гостях у Филипповых в Днепропетровске. Ей запомнилось благополучие, из поездки они привезли продукты, а еще Рафаил подарил им талон на покупки в книжном магазине. За 15 рублей они купили две книги и глобус. Отцу тогда сравнить свое необычное благополучие было не с чем. Из его рассказов я помню, что квартира была служебная, еда простая, мебель с инвентарными номерами, библиотека, которая пополнялась по списку хорошими изданиями, вроде знаменитой "Academia", абонемент в театр и "партмаксимум" — предельный оклад для номенклатуры на разных должностях. Дед много курил (и однажды взял с отца обещание не курить до 40 лет), много играл по ночам в карты и, несмотря на боевое прошлое, падал в обморок в зубо врачебном кресле. Отец говорил мне, что ему помнится, будто видел он однажды Бухарина и что за бабушкой на каком-то курорте пытался ухаживать Тухачевский. Наверное, надо было более настойчиво выспросить его о быте средней номенклатуры, но, к сожалению, я не догадался. Да и воспоминания эти ценны не сами по себе. Я думаю, что история и семейная история были для него в некотором роде одно, он сформировался именно таким, каким я его знал, в событиях большой истории, близко затронувших его лично.

Скорее всего, одним из тех, кто двигал Рафаила Филиппова по карьерной лестнице, был известный партийный деятель той эпохи Мендель Хатаевич. Хатаевич погиб в 1937 г., дед был расстрелян за несколько месяцев до того. Есть опубликованное письмо Сталину от обиженного партийца, в котором тот говорит, что Хатаевич привез с собой в Днепропетровск несколько функционеров, которые потом оказались врагами народа, среди них назван и Р. Ф. Филиппов. Сталин наложил резолюцию "разобраться", видимо, это была большая интрига. Тут не сходятся воспоминания отца и документальное свидетельство, которое мне удалось откопать. Отец говорил, что в 1937 г. деда пе-

ревели на работу в Киев, в Наркомат сельского хозяйства, начальником зернового управления (как раз в начале года Хатаевич стал вторым секретарем ЦК компартии Украины). На этой должности он пробыл пару месяцев, потом его направили в командировку в Харьков и там арестовали. Незадолго до того он получил телеграмму от Ежова с предложением сотрудничества и, видимо, повышения. Теперь известно, что это входило в обычную технологию подготовки ареста, как, в общем, ясно и то, что он попал под общий каток чистки партийных кадров и, скорее всего, не представлял другого интереса, кроме как для того, чтобы ликвидировать Хатаевича. Могу предположить, хотя дома мы этого не касались, что получил он те самые пресловутые "десять лет без права переписки", потому что еще после войны отец надеялся увидеть его живым, а в справке о реабилитации говорится "умер в заключении в 1939 г.". Догадывались ли отец, что эта справка — тоже филькина грамота, я не знаю. Но в публикациях "расстрельных списков" "Мемориала" есть однозначное указание: Р. Ф. Филиппов проходил по делу так называемого "параллельного центра", попал в списки первой категории и был расстрелян еще в конце августа 1937 г. Нестыковка состоит в том, что, по воспоминаниям отца, дела происходили в Киеве, а публикация "Мемориала" показывает Днепропетровск. К этому же времени относится эпизод, который я много раз продумывал и значение которого пытаюсь осмыслить до сих пор. Когда деда арестовали, бабушка зачем-то поехала в Днепропетровск, почему-то именно там надеясь найти поддержку или какие-то документы. Впрочем, быть может, его как раз отвезли в Днепропетровск, и она пыталась увидеться с ним? Или что-то ему отвезти?

Так или иначе, не преуспев, она возвращалась в Киев, при этом чудом села на уходящий глубокой ночью поезд. Той же ночью в Днепропетровске арестовали всех жен проходивших по этому процессу функционеров. Она спаслась и вскоре переехала обратно в Одессу. Но и там становилось беспокойно. Она уехала с Украины на Урал в Свердловск, где, если не путаю, жила ее родная сестра. Ее оставили в покое, перед войной она снова вышла замуж. Конечно, из виду ее не потеряли. Есть следственная анкета ее брата, военного летчика (того самого, чей сын был тоже Фридрих). Его арестовали в 1938 г., местом проживания бабушки назван Свердловск. Он, кстати говоря, уцелел, вышел живым из заключения после войны и скоро умер. Ближайшие родственники деда не пострадали, но затаились от ужаса и дали знать о себе только в 60-е годы. Родители говорили о том, как они предлагали им помощь в это время — когда никакая помощь была уже не нужна. Отношения с ними, впрочем, были хорошие.

До ареста деда отец получал "барское" воспитание: его учили музыке и, если не ошибаюсь, приватно, дополнительно к школьным занятиям, немецкому языку. Он даже и в зрелые годы помнил немецкий и немного обижался, когда я с моей спецшколой за плечами, находил ошибки в его письмах. В Свердловске жизнь переменялась, он помогал матери подрабатывать перепечаткой на машинке и с тех пор не доверял машинисткам, печатал все сам, неправильно (четырьмя пальцами), но быстро и очень грамотно. Несмотря на все трудности, он учился очень хорошо, интересовался историей дипломатии, любил музыку. Чуть ли не единственный эпизод его школьного детства, который я помню, — это рассказ о том, как они с другом достали ноты "Евгения Онегина" и, сидя в школе под лестницей, распевали на два голоса. В той же школе, кажется, классом старше, учился Лев Наумович Коган, впоследствии известный социолог. Его все помнят блестящим, искрящимся человеком. Таким он был и в школьные годы. Школу отец окончил с так называемым "Сталинским аттестатом", что заменяло медаль, его сочинение об историческом значении открытия Америки Колумбом заняло первое место в городском конкурсе, он готовился к поступлению в университет, но тут началась война. Ему было неполных 17 лет. Он пошел поступать в уни-

верситет и его не приняли. Я нашел ответ из приемной комиссии: оказывается, отец не попал в квоту для отличников! В армию его не призывали по возрасту, да и зрение было откровенно плохим. Он пошел работать на завод, учеником токаря, а потом все-таки оказался в Уральском университете на историко-филологическом факультете. Видимо, либо места появились в связи с войной, либо помог хотя бы небольшой рабочий стаж. От работы на заводе осталось важное свидетельство солидарности: как-то ему случилось потерять продуктовые карточки в начале месяца, на помощь пришли товарищи по цеху.

В 1943 г. его призвали в армию с третьего курса, на военной фотографии этого года он без очков, но страшно косит одним глазом. Это, впрочем, уже не было помехой, один глаз видел плохо, зато другой прилично, без очков. Очки появились позже. У него был хороший слух, что и определило военную специальность. Он служил радистом, потом начальником радиостанции в дивизии ПВО. В партию он тоже вступил в армии, по-моему, в самом конце войны, пришел из армии кандидатом, а членом партии стал уже в университете. Дивизия, в которой он служил, вошла в Резерв Главного командования, стояла сначала под Москвой, в Зюзино, а потом ее перебросили в Крым. Впоследствии оказалось, что они с воздуха прикрывали Ялтинскую конференцию. В точном смысле слова отец не воевал; когда в поздние брежневские времена стали проявлять демонстративную заботу о ветеранах, ему разъяснили, что ветераном войны ему считать себя не положено. Впрочем, он и раньше говорил, вспоминая об однокурсниках, вернувшихся с фронта, что не может себя с ними равнять. И все-таки война есть война. Однажды отца чуть не накрыло осколком случайно разорвавшейся мины, пробившим крышу землянки за мгновение перед тем, как он вошел. Под конец войны его дивизию разделили на два полка, один отправили в Югославию, и там он погиб весь, а вот отец выжил, потому что служил в другом, оставшемся в резерве полку. Я думаю, что само его существование, а значит, и мое, оказывается в такой ретроспективе случайным.

В 1945 году отцу удалось сразу же демобилизоваться, был приказ о демобилизации недоучившихся студентов, если они могли показать документы о прерванной учебе. Он вернулся на третий курс и через год женился на моей матери, своей однокурснице. Почти сразу же стало ясно, что студенческая семья не выжить (напомню, высшее образование было тогда платным), мама ушла из университета и работала, чтобы дать отцу возможность доучиться. Она закончила его лишь в середине 50-х годов, заочно. Отец был лучшим студентом на факультете и по выпуске в 1948 г. получил лучшее распределение. Учился он на историческом отделении. Кстати говоря, как-то среди студентов обоих отделений провели проверочный диктант. Он один, среди историков и филологов, написал его без ошибок. Это не просто врожденная грамотность, как говорят. Он очень любил всякие справочные издания, словари, энциклопедии и т.п. Выбор кафедры отец сделал вопреки своим детским планам. Конечно, в конце 30-х знаменитый трехтомник по истории дипломатии сделал свое дело, а здесь уже в 45-46 гг. отцу стало ясно, что никакая история дипломатии ему не светит. Хотя тучи еще не сгустились, он выбрал карьерно, как ему казалось, самую надежную дорогу, стал специализироваться по истории партии. Это была, собственно, не история, а такое идеологическое конструирование. Позже, у мамы это было не так, у нее дипломная работа была, кажется, о становлении профсоюзных организаций на Урале, но вот дипломная работа отца называлась "Учение Сталина о фазах и функциях социалистического государства". Руководил ею, кажется, Г. А. Курсанов, известный московский философ, оказавшийся в те годы на Урале. При всех отличных оценках за учебу и несмотря на вполне идеологически выдержанный диплом, остаться в Свердловске отец все равно не смог. Конечно, во всем этом было много неправды, однокурсники с более низкими оценками оставались,

ему же на выбор предложили два города: Нижний Тагил и Новую Лялю. Выбор пал на Тагил, где было место директора школы рабочей молодежи и где обещали жилье (впрочем, первое время жильем был кабинет директора, где родители спали на столе, за неимением другой мебели). Родители рвались в Свердловск почти всю жизнь, но ничего не получилось. Тоска по Уралу, по Свердловску сохранилась у них, особенно у мамы, навсегда. Она, кстати, тоже была дочерью "врага народа", ее отца, портного, обвинили в том, что он собирался взорвать Уралмаш. Он выжил в лагерях, но вернулся уже в 50-е гг. Возможно, им было лучше уехать в те годы из Свердловска. Во время антисемитской кампании конца 40-х — начала 50-х из Свердловска в Тагил приезжал какой-то партийный инспектор, но тогда ничего не нашел, не подкопался, а вскоре Сталин умер, кампания прекратилась.

В Тагиле отец быстро стал известным человеком. В те годы учителя с университетским образованием были редки (у многих за плечами были только так называемые учительские институты, а у некоторых и того не было), он к тому же был хороший лектор, начитанный в классической и марксистской философии, владевший иностранными языками (кроме немецкого, отец выучил в университете французский, довольно хорошо, и английский, скорее неважно). Через несколько лет, побывав директором двух или трех школ, он стал заведовать тагильским горно (городским отделом народного образования, подразделением горисполкома) и пробыл на этой должности семь лет. К делам относился с большой ответственностью и едва не заработал инфаркт. Ему приходилось инспектировать школы не только самого города, но и школы всего района. В районе же находились многочисленные лагеря. Вот объезжая лагерь (ради инспекции лагерных школ) он думал иногда, что, может быть, встретит в одном из них своего живого отца. Запрос о его судьбе он подал только после 20 съезда, а справку о реабилитации показывал последний раз, когда устраивался на работу в Институт социологических исследований АН СССР, в 1974 г. Номенклатурная должность имела, конечно, свои приятные стороны, но только целью своей такую карьеру отец никогда не ставил. А может быть, просто понял, что физически не выдержит напряжения. Он решил уйти, чего так и не смогли понять его сослуживцы. Вроде бы, все шло к тому, что ему светит уже перевод в Свердловск, но тут он перешел на должность преподавателя в Нижнетагильский пединститут.

**— На каком факультете, какой кафедре он начал работать? Наверное, вскоре он задумал писать кандидатскую диссертацию?**

— Отец руководил горно с 56 по 63 гг., уходил в Нижнетагильский пединститут простым преподавателем, еще без степени, хотя, скорее всего, с расчетом быстро защититься, либо же сразу после защиты, но еще до утверждения.

Вернемся к защите. В 1963 г. в Свердловске он защитил диссертацию, посвященную проблемам образования. Диссертация называлась "Повышение общеобразовательного уровня рабочего класса в СССР в период развернутого коммунистического строительства и социальное значение этого процесса". Это еще не была социология в точном смысле слова, хотя становление отечественной социологии должно было оказать на него большое влияние, ведь именно на рубеже 1950-х -60-х гг. случился этот важный поворот к социологии. Я недавно смотрел некоторые ранние публикации наших социологов, оказывается, в Нижнем Тагиле в 1962-63 гг. проводили большое исследование, одно из первых в нашей стране, но отец был не при чем, во всяком случае, никаких свидетельств его участия я не знаю. Скорее всего, он был в курсе, может быть, даже с кем-то тогда познакомился и даже мог помогать в организации, если дело затрагивало образовательные учреждения. Некого спросить, увы. После защиты диссертации, как я сказал, он в скором времени уже был заведующим кафедрой, а потом долгое время был проректором. Так получалось везде: он хотел за-

ниматься исследованиями, но через некоторое время оказывалось, что он опять начальник чего-то.

Я перечитываю то, что до сих пор рассказал, и вижу, что получается какая-то очень однобокая картина: вырос отец в семье партийного работника, сам был убежденный коммунист и на протяжении всей карьеры, хотя и не дослужился до больших номенклатурных чинов, всегда кем-то руководил. В общем, так все и было, но я бы именно здесь хотел добавить несколько, лично для меня очень важных, психологических деталей. В нашем доме всегда было много книг, строго говоря, кроме книг, почти ничего и не было, совсем неплохие по тем временам зарплатные родители — и это было именно желанием отца — тратили на путешествия. Он любил, так сказать, базовый комфорт, но был равнодушен к роскоши. Он очень любил географию, каждый год мы куда-то отправлялись на все лето, а когда открылась возможность ездить за границу (ему тогда было без малого пятьдесят лет, он впервые поехал на социологический конгресс в Болгарию), он пользовался этим не просто охотно, но прямо-таки страстно. Впрочем, я хотел сказать о книгах. В молодости родители часто переезжали, во время одного из переездов грузчики, тащившие очередные пачки книг, спросили, когда же, наконец, будут вещи. Но, повторю, вещей, кроме минимума, не было, собственно, так было и до конца жизни, разве что к книгам добавились туристические сувениры. Среди множества книг была одна, так сказать, семейная Книга с большой буквы. Сейчас ее мало кто помнит, а дома у нас она разошлась на цитаты, которыми отец охотно перебрался со своим младшим братом. Приохотили они и меня. Это книга Леонида Соболева "Капитальный ремонт". В ней описана ситуация на флоте перед началом первой мировой войны, по идее, книга должна была завершаться в революционный 1917-й год, но Соболев ее не дописал, так все и осталось в довоенной Финляндии и Петербурге. Отец так ее любил, что, когда пожилой уже Соболев приехал в Тагил на какие-то писательские гастроли, он ходил на встречу и спрашивал, когда же будет продолжение. Там две ключевых фигуры: молодой гардемарин и его старший брат, лейтенант флота, который младшего учит жить, по видимости цинически, а на самом деле — как человек долга, видящий все безумие бюрократической машины, но сделавший из служения этому абсурду некоторого рода добродетель. "Зачем чистить медяшку до блеска, если собираются тучи и вот-вот пойдет дождь? — Потому что на медяшке флот держится". Я как-то усваивал всегда только одну сторону этих поучений: что абсурдом не надо тяготиться, что без его повторения не было бы вообще никакого порядка. И не задумывался над тем, что, значит, в том, что это — абсурд (в книге, кстати, и ведущий Россию к катастрофе) сомнений не было. Никакого искреннего почтения к поздним советским партийным вождям у него не было, просто прорывалось это редко, к концу жизни — чаще. Так или иначе, ему нравился порядок во всем, в том числе все внешнее, правильное. Он с удовольствием вспоминал, как кто-то из столичных профессоров, приехавших в Свердловск в эвакуацию, несмотря на жуткий холод в аудитории, всегда снимал пальто и читал лекции в пиджаке, в белой рубашке с галстуком. Он с удовольствием цитировал то ли реальные, то ли выдуманные дневниковые записи какого-то офицера времен еще первой мировой: "Заметил, что Н. небрит. Вынес ему порицание". Это продолжалось и в ученых занятиях. Поэтому, уже позже, он был отличный редактор, не пропускавший не только пропущенных запятых, но и ошибок в таблицах. Я помню, как он вечерами сидел над корректурами статей в "Социологических исследованиях": никаких даже калькуляторов тогда не было. Считал сам и пересчитывал сомнительные таблицы в чужих статьях на счетах и логарифмической линейке. Находил ошибки в расчетах, находил ошибки в цитатах, в библиографических описаниях. Это, по идее, не работа для заместителя главного редактора, но, помимо того, что он чувствовал свою ответственность, ему такая работа нравилась. В

науке для него желание понять означало: привести понятия в порядок надежной концептуальной схемы. Но когда схема уже была сконструирована — и, желательно, надолго, — важнее всего оказывалось надежное установление фактов. Этим его и привлекала социология.

**— Похоже, что уже в своей кандидатской диссертации Ваш отец почти вплотную приблизился к социологии. А когда и как он начал заниматься социологическими исследованиями?**

— Его социологическая карьера в более узком, точном смысле слова началась так. Однажды на трамвайной остановке в Тагиле (а точнее, на той самой знаменитой теперь "Вагонке", то есть в районе, отделенном от города, где располагается Уралвагонзавод и где начиналась его тагильская жизнь) он встретил захавшего в командировку, с лекциями, Михаила Николаевича Руткевича, декана философского факультета УрГУ. Они были уже знакомы, конечно, мало того, мои родители учились у отца Михаила Николаевича — доцента-историка Николая Паулиновича Руткевича, кажется оказавшегося в Свердловске в эвакуации. Вообще эвакуированные из центра страны крупные фигуры сыграли большую роль в жизни отца. Так, например, он всегда помнил известного византиниста Сюзюмова, хотя и не собирался заниматься этим предметом.

Вернемся, однако к Руткевичу. Можно считать, что тогда между ним и отцом состоялся исторический разговор. Именно Руткевич предложил ему обратить внимание на социологию социальной мобильности, именно с этого времени начинался их длительное сотрудничество. Руткевич и в научном плане, и по-человечески очень импонировал отцу, который считал его интеллектуальным лидером, очень долго доверял ему в решении важных методологических вопросов, да и в более широком плане. Но именно своей заслугой отец считал то, что на известной конференции 1966 года в Минске, посвященной социальной структуре советского общества, он говорил о теориях социальной стратификации и мобильности. Вероятно, на соответствующую литературу одновременно обратили внимание сразу несколько исследователей, но я в данном случае говорю именно о том, что сам отец считал важным, что говорил мне, даже если и не видел проку в публичном подчеркивании своей роли.

Есть, конечно, важное свидетельство того, что они тогда сделали с Руткевичем вместе: это изданный ДСП сборник (в двух частях) с переводами и рефератами почти всех основных на тот момент (1968 г.) источников по теориям стратификации и мобильности. Роль отца, как я могу судить уже по позднему, была именно ролью рабочей лошади, вытащившей на себе этот труд. В 1970 г. вышла их книга "Социальные перемещения", которая попала в хорошую компанию. В этот год вышли и "Социологические опыты" В. Н. Шубкина, и "Социальная структура рабочего класса в СССР" О. И. Шкаратана. Бывают такие годы в науке, когда все лучшее выходит почти одновременно. С этого времени, я думаю, уже не только Руткевич, но и отец стал заметной фигурой в социологии.

**— По-видимому эта книга стала основой его докторского исследования?**

— Да, так и есть. В 1971 г. он защитил докторскую диссертацию. Я хорошо помню, как мама обеспокоенно говорила ему накануне защиты, чтобы он особенно ни во что не ввязывался, а он отвечал, что когда речь идет о докторской защите не ввязываться в принципиальные вопросы невозможно. Он сильно нервничал. Не доверял никому перепечатку диссертации, но и сам уже выбивался из сил. Как-то мне пришлось поддиктовать ему страницу, перепечатанную уже несколько раз. Я от волнения сбился, но это не навредило, все уложилось так, как было должно. Обстановка дома была тяжелая. Как я теперь понимаю, желающих его провала было достаточно, но все обошлось. К сожалению, я не знаю особенных подробностей тогдашних интриг, но одна из несомненных сложностей состояла в том,

что как раз в это время Руткевича переводят в Москву и защищаться приходится без него. Руткевич после отставки Румянцева и известных решений по ИКСИ возглавляет Институт социологических исследований. Это время сейчас описано многими и, в основном, единодушно. Я хорошо знаю, по меньшей мере, часть этой истории со слов моих добрых коллег, с которыми я работал в секторе Ю. Н. Давыдова. Они пережили все эти тяжелые годы, и я, таким образом, видел все это в юности в двух перспективах: сначала с точки зрения отца, который до переезда в Москву и первые годы в Москве стоял на позициях Руткевича, а потом мне многое рассказывали те, кто в то время работал в ИСИ.

У событий в ИСИ есть идеологический и есть персональный аспект. Идеологически в ретроспективе дело выглядит так, что коммунисты усмотрели в социологах опасное свободомыслие и учинили разгром, для чего мобилизовали Руткевича, который задание партии выполнил, после чего был уволен. Это правильно, если не считать того, что уволенные тоже были коммунисты, но нуждается в дополнительных уточнениях. В Москве Руткевича и всех, кто был с ним, называли "уральскими догматиками", и, сколько мне известно, никакого огорчения это не вызывало ни у него, ни у его сторонников. Однако, что значит быть "догматиком" в социологии? Как мне кажется, с точки зрения истории идей здесь существует определенный перекосяк. Несомненно, Руткевич был приверженец того, что называют "советским марксизмом" и, кстати говоря, автором учебника "Диалектический материализм" для философских факультетов. Но — искренне или неискренне — на позициях марксизма-ленинизма стояли тогда все заметные советские социологи. Если мы хотим понять различия между ними, по этому критерию их различить невозможно, во всяком случае, в конце 60-х — начале 70-х гг. Была в то время догматическая антисоциологическая точка зрения. В партийном аппарате, например, она была представлена одиозной фигурой Ягодкина, сначала работника Московского горкома партии, а потом — замминистра высшего и среднего специального образования СССР. Именно Ягодкин, если не путаю, был инициатор кампании против социологов в конце 60-х гг., в частности, в связи с "Лекциями по социологии" Ю. А. Левады. Именно Ягодкин не давал ввести в номенклатуру специальностей социологию и вообще был против нее. К Ягодкину мой отец относился с отвращением, я это хорошо помню, как помню и то, какой серьезной угрозой для науки он считался. В ученой среде был тогда и такой известный деятель, как Ц. А. Степанян, член-корреспондент АН СССР, заведующий отделом научного коммунизма Института философии АН СССР. Он был против социологии как прикладной науки и считал, что исследования не нужны, поскольку все необходимое уже содержится в научном коммунизме. Конечно, он был не идиот и выражал все это более аккуратно, но смысл был именно такой, это была явная и непосредственная угроза. А если мы посмотрим, чем занимались социологи уже после ухода Румянцева и разгона старого состава Института, то окажется, что исследования были, в том числе, продолжалась и методологическая работа. Таким образом, и здесь нельзя найти точный критерий разграничения. У меня есть одно предположение, которое я несколько раз высказывал в печати, но я не могу обосновать его в достаточной мере. Ниже я о нем скажу. Но пока что скажу об аспекте персональном.

В общем, ни для кого не является секретом, почему Руткевичу довольно быстро пришлось оставить свой пост. Он, кажется, был всерьез уверен в том, что наступило время иной, правильной науки, перессорился с влиятельными московскими кланами и, наконец, совершил, как я помню, непростительную ошибку, уволив из Института В. С. Семенова, автора известной в то время книги "Капитализм и классы. Исследование социальной структуры современного капиталистического общества". (М., 1969). О причинах увольнения я сказать не могу, а последствия были предсказуемы, потому что Семенов был лично

очень близок к всевластию в те годы академику и вице-президенту АН СССР П. Н. Федосееву (говорили, что он очень дружил с его сыном, трагически погибшим, и в каком-то смысле заменил ему сына). Но даже и без этого Михаил Николаевич был, конечно, не только идейно, но и лично совершенно чужд коллективу, у которого, как это часто бывает в Москве, связи были многообразные и серьезные. Он видел себя лидером дисциплины, он был необыкновенно работоспособен и разносторонне образован и, как я думаю, считал себя не только старшим по должности, но и заслуженно старшим, имевшим право на пренебрежение чужой точкой зрения и человеческим достоинством. Не раз и не два я слышал, правда, в передаче, как тех, с кем он расправлялся, называл он "шпаной". Повторю, это было не просто идеологическое противостояние, но еще и человеческое пренебрежение, связанное с высокой самооценкой. Из этого иногда проистекали характерные коллизии. Со слов Руткевича отец рассказывал мне, что через некоторое время после начала увольнений тот схлестнулся с В. Н. Шубкиным, знаменитым социологом, заведовавшим сектором социологии молодежи и образования. Якобы Шубкин решил ему высказать внятное несогласие с кадровой политикой и, придя на прием, стал рассказывать, как в 1943 г. к ним, опытным бойцам, прибыл в окопы Сталинграда молодой необстрелянный лейтенантик, которого быстро поставили на место. Горький юмор ситуации заключался в том, что Руткевич, ко всему еще и чрезвычайно вспыльчивый, сам воевал чуть ли не всю войну, был награжден орденами, вообще, был боевой, а не тыловой офицер. "Он это говорит мне, мне!" — кипятился Михаил Николаевич. Шубкина он скоро уволил, как уволил, например, и тишайшего И. С. Кона, к тому же безупречного профессионала. Это потрясло тогда очень многих, и мне даже и через десять лет об этом так и рассказывали: как о чудовищной и неожиданной несправедливости. Но я лишь недавно узнал, что когда Руткевич передумал увольнять Кона, тот не согласился остаться. Он был тихим, но твердым.

А вот, например, моего учителя Ю. Н. Давыдова, с его строгим выговором с занесением в учетную карточку (хуже было только исключение из партии), он увольнять сначала не стал, попробовал "дожать" и отправлял каждое утро на овощную базу перебирать капусту в порядке шефской помощи. Он рассчитывал, что Давыдов сам уйдет. Но тому уходить было некуда, зато в один прекрасный день Руткевичу позвонили из ЦК, и после этого он Давыдова оставил в покое. А вот насчет того, не звонили ли ему, чтобы он конкретных людей непременно уволил, ничего сказать не могу. Эта тема ждет своего исследователя. Не могу не сказать и о том, что мне в детстве передано отношение отца к Михаилу Николаевичу. Что бы я ни узнавал впоследствии от разных людей, поменять свое отношение на прямо противоположное я не могу и не хочу.

Так или иначе, место Шубкина освободилось, некоторое время его обязанности исполнял Ю. Н. Козырев, а потом именно на это место Руткевич перетащил в Москву отца. Это был конец 1974 г., сразу после того, как ВАК утвердил его докторскую степень. Я хорошо помню, что утверждение затягивалось, отец начинал нервничать, потому что затянулось оно немного сверх меры. За несколько лет до того у него, о чем родители не очень любили говорить, случился карьерный облом. Он должен был избираться на должность заведующего кафедрой в Уральском политехническом институте в Свердловске, все, казалось, было налажено. Даже в школе моей считали, что мы переехали, и страшно удивились, увидев меня первого сентября в классе. А дело было в том, что отец не прошел конкурс. Кто сыграл против, я не знаю, почему — даже не догадываюсь, хотя, в общем, все влиятельные люди Свердловска того времени известны. Конечно, он не мог не думать о том, что и сейчас могло что-то не сложиться. Но вот — это было летом 1973 г. — пришла телеграмма от Руткевича, я даже сейчас ее помню: "Поздравляю с утверждением, срочно оформляйте профессорство". Отец ока-

зался первым доктором наук и первым профессором в Нижнем Тагиле. Мы им очень гордились. Через год ему исполнилось пятьдесят. Отмечали с большим провинциальным размахом и, вроде бы, один наш местный художник собирался даже писать его портрет. Но на торжествах уже лежала тень расставания. Руткевич добился его перевода в Москву. Он уехал, а мы остались. Ждали жилья.

— **Как складывалась жизнь отца в Москве?**

— Отец приехал в Москву, кажется, в октябре или ноябре, поселился у своей двоюродной тетки, которая когда-то сбегла во время войны его документы о незаконченном высшем образовании. Тетка, вдова богатого адвоката, жила в одной комнате в огромной, составленной когда-то из двух, коммунальной квартире прямо напротив Института иностранных языков (ныне Лингвистический университет). Потолок комнаты терялся в вышине, размерами она была со всю нашу нынешнюю московскую квартиру. Отец там несколько месяцев жил без нас, а потом еще мы приехали, и все уместилось. Он писал там первую индивидуальную московскую книжку "Всеобщее среднее образование в СССР. Социологические проблемы" (М.: Мысль, 1975). Мы приехали к нему в самом начале февраля 1975 г. Началась новая жизнь. В Москве отец, я думаю, остро ощущал свою провинциальность, он не принадлежал к московскому кругу социологов и никогда, что называется, по-человечески в него и не вошел. Все вкусы, связи, круг общения были вокруг новые и непривычные. Ездить в Москву в командировки и жить здесь — совсем разные вещи. Все отношения были только рабочие, тех теплых дружеских связей, к которым он привык на Урале, здесь не было. Вообще столичный стиль — это штука очень специфическая. Я сам это почувствовал только через полгода после переезда, когда стал учиться в университете. В Тагиле я учился в одной из лучших школ, а в Москве кончал обычную, рядом с домом. Первое движение школьной администрации было поместить меня в девятый класс, вместо десятого — "мальчик приехал из провинции". И уже через пару месяцев они же выражали сожаление, что я раньше у них не учился, был бы золотой медалист. Это потому, что в Тагиле учили лучше, да и весь наш класс был сильнее, по сравнению с Москвой — небо и земля. А вот в университете, где культурный багаж важнее оценок, я себя чувствовал безнадежным провинциалом еще долго, но у меня было достаточно времени вписаться и приспособиться. Или упереться, если меняться не хотел, не забывая о последствиях.

А здесь, у отца в его 50 лет, все было сложнее. Грубо говоря, он любил симфоническую музыку XIX в., а не камерную XVII-XVIII вв. Он себя чувствовал во многом именно человеком XIX в. и часто об этом так и говорил. Наверное, не столько настоящего XIX в., сколько выдуманного, но все же именно века революционного прогрессизма. Поэтому — тогда я ничего не понимал, а сейчас для меня очевидно — на книжных полках у нас стояли полный Золя и полный Фейхтвангер. Сочувствие трудящемуся классу, победа разума в исторической борьбе с силами невежества. Не представляю себе, с кем бы из коллег он мог говорить об этом в 1976 г. То есть люди-то были, только в таком возрасте и обстоятельствах душу не открывают. И в походах у костра под гитару отец тоже не пел. Не могу не рассказать один случай, только без имен. Как-то уехал в те еще первые московские годы один социолог в США. Уехал обычным образом, по еврейской линии, когда ребенку его заблокировали поступления в МГУ. В Институте устроили по этому поводу положительное в таких случаях мероприятие. На нем заметно суетился один из коллег, типичный московский интеллигент с гитарой, душа всех компаний. "Я всегда знал, — говорил он, — что N двурешник!". Отец, вернувшись домой, рассказывал об этом с чудовищным презрением. "Ну, и чего ты молчал, если знал? И чего теперь высказывать?". В общем, этих тонкостей он так и не постиг.

И психологически, и карьерно вырочала, конечно, работа.

Уже через несколько лет, когда образовался отдел социальной структуры советского общества из нескольких секторов, он возглавил отдел, а когда возник журнал "Социологические исследования", стал заместителем главного редактора, А. Г. Харчева. Кажется, именно с ним его связывали более похожие на дружеские отношения, его кончину отец очень переживал. Конечно, первым важным испытанием на прочность стал уход Руткевича, никаких оснований предполагать, что его это не коснется, у отца не было. Но получилось все по-другому. Четыре директора сменились при нем, и со всеми у него было добрые деловые отношения. На него всегда можно было положиться, интриговать и подкапываться он не умел, а написать в срок внятную бумагу мог. Никаких заблуждений на свой счет в этой части у него не было. Уже в 80-е гг. он мне говорил: "Держат меня как хорошего писаря. А если не будет нужды, выкинут". "Писарь" — это, понятное дело, значило "изготовитель докладных бумаг". Объемы экспертизы, как мы бы сейчас это называли, уходившей из ИСИ наверх не только по прямой линии, то есть в качестве ответа на официальный запрос к дирекции, но и по линии простого, скажем, телефонного обращения одного из инструкторов ЦК КПСС к тому или иному ученому, видимо, еще предстоит оценить. Это было никак не формализовано, не нормировано, и, в общем, у меня нет никакой уверенности, не получалось ли так, что под видом служебных заданий там процветала обычная эксплуатация научных кадров, и множество бумаг эти бюрократы просто выдавали за свои. Впрочем, это был конечно, взаимовыгодный симбиоз крокодилов и маленьких птичек, которым хватало на пропитание. Насчет интеллектуального и культурного уровня этой публики отец тоже не заблуждался. По поводу одного из инструкторов, человека в те годы влиятельного, но очень уж неотесанного, он вспоминал, кажется, из Симонова, сравнение такого рода людей с чемоданами, которые возвращаются из зарубежных путешествий своих владельцев сплошь в наклейках зарубежных аэропортов, но так и остаются чемоданами.

— **Теперь, если можно, расскажите об основных направлениях исследований Ф.Р.Филиппова по социальной структуре и по социологическим проблемам образования.**

— Однако надо, наконец, перейти к существу того, чем он занимался. Возможно, спорам о трактовке социальной структуры советского общества надо посвятить отдельное исследование. Сегодня многое может показаться искусственным и схоластическим. Существенную роль в схлопывании дискуссий сыграла, конечно, перестройка и реакция на нее наших социологов. Я как бы начинаю с конца, но это лишь предупреждение. Мы ведь помним, как сильно повлияла перестройка на трактовку социальной структуры. Появились статьи, в которых доказывалось, что партийная (прежде всего) бюрократия — это особый слой, который социологи раньше боялись трогать, а между тем, распределение власти, доступ к привилегиям и т.п. явно указывают на особый характер этой социальной группы. Ну и, конечно, вывод о недоброкачественности прежней социологии напрашивался сам собой. У меня по этому поводу, как у Маугли, довольно много колочек под языком, но, говоря максимально отстраненно, этот критический подход для конца 80-х — начала 90-х был отчасти оправдан. При других обстоятельствах с ним случилось бы то же, что с известной работой Ч. Р. Миллза о властвующей элите, который, при всем уважении к автору, не привел в момент появления к крушению структурно-функциональной социологии. Оно произошло позже и по другим причинам.

Ну, а у нас под шумок как раз и случился переворот в социологии — как продолжение той перестройки, которая происходила в стране и при поддержке той самой партийной элиты, которую предполагалось разоблачать. Но глубокому внутреннему единству советской социологии это повредить не могло. Просто времена изменились. Хочу вспомнить о случае, кото-

рый знаю со слов отца, очень показательном именно в данной связи. В первой половине 80-х гг. одним из самых влиятельных направлений в нашей социологии стало развивавшееся в пику иностранцам изучение "образа жизни". Концептуально это было довольно бедное направление, зато можно было проводить массовые обследования, по всей стране, захватывающие десятки тысяч человек. И вот однажды в Алма-Ате, тогда столице Казахской ССР, в адресную выборку попала квартира чуть ли не первого секретаря горкома партии. Как уж так получилось, что его жена вообще пустила социологов в дом, я не знаю, но только пришли они и стали расспрашивать про доходы и расходы. Умная и, в общем, не вредная женщина довольно быстро вы проводила их, но тем дело не кончилось. Она поведала мужу, муж пожаловался в Москву, руководителя исследования, И. Т. Левыкина, далеко не новичка и вообще человека очень дисциплинированного, пришедшего в Институт из Академии общественных наук при ЦК КПСС, вызывали на ковер. Очень неприятно получилось. Так что реальность, в общем, пыталась просочиться даже в исследования Левыкина, но соединенными усилиями ей был поставлен заслон. Все прорвалось именно в перестройку. А в 70-е была именно реакция, в частности, на Пражскую весну, на ту самую критику социализма, которая, говоря попросту, к тому и сводилась, что номенклатура уже замкнулась в особый класс. Книга Руткевича и Филиппова — это как раз реакция на такого рода идеи. У них там довольно много данных по формированию низового и среднего звена советских управленцев. Между прочим, они там довольно откровенно говорят об отсутствии статистики, о необходимости вычислять проценты выходцев из рабочего класса и проценты имеющих высшее образование среди этой группы по косвенным данным. И хотя я представляю себе, примерно, как можно поставить под сомнение некоторые их выводы, даже не трогая концептуальной схемы, само по себе это даже и сейчас, по-моему, интересно.

В чем же еще был смысл исследований социальной структуры и о чем там вообще можно было спорить, если старая догма требовала признавать наличие в СССР двух классов, различающихся по форме собственности, для описаний таких феноменов, как "молодежь" или "интеллигенция" изобретались вымученные конструкции, а номенклатура вообще не ухватывалась понятийной сеткой?

Нечто очень важное произошло в середине 60-х гг. До этого, как мне кажется, только-только становящаяся советская социология была более многообразна в источниках заимствования западных идей, а пафос ее был не столько описательно-аналитический, сколько управленческий. Были интересные философско-социологические заходы, особенно после 22 съезда КПСС и попытки всерьез принять программу построения материально-технической базы коммунизма, но, в конце концов, все свелось к тому, что научное управление обществом невозможно без эмпирической науки, представляющей форму обратной связи, именно это позволяло не ставить под сомнение наличие высшего управленческого слоя. Социология должна была стоять на службе у партийных бюрократов, а не описывать их же самих для них же самих. В самое продуктивное время у самой успешной советской социологии не было никакого освободительного пафоса, кроме позитивистской научности: знать, чтобы предвидеть и управлять. Конечно, это могло выглядеть по-разному для разных групп социологов: одни были внутренне и, пока возможно, внешне на стороне социализма с человеческим лицом, а другим мерещился усовершенствованный, без массовых и особенно аппаратных репрессий, но все-таки социализм того типа, который и восторжествовал в СССР в 70-е гг. Но вот что произошло, как я думаю, со структурным функционализмом.

Он оказался удобным сразу многим и с разных сторон. Несомненно, когда его начали перенимать, он был весьма почетным, влиятельным направлением в западной социологии. Можно было быть структурным функционалистом, парсонсианцем, и чувствовать себя в интеллектуальном мейнстриме. Лет десять назад вышла книга переводов по теории действия Парсонса. В ней большое место занимают воспоминания разных людей, которые прикоснулись к его теориям еще в 60-е. Меня глубоко тронуло то, что верность интеллектуальному лидеру они сохранили в течение нескольких десятилетий. Это показывает, сколь сильным было влияние. Но ведь структурный функционализм, сколько бы ни пытались скорректировать ходячее представление о нем некоторые крупные авторы, все равно оставался именно консервативной теорией общества. Не реакционной, а именно консервативной. И вот что получилось: он устраивал и наших прогрессистов, потому что был передовой теорией, и наших консерваторов и даже реакционеров (их сильно смутили события в конце 60-х гг. в некоторых социалистических странах, прежде всего, конечно, в Чехословакии), которые именно в нем видели решение той самой проблемы соединения порядка с прогрессом, которой когда-то был озабочен еще Кант. Конечно, в специфических условиях СССР все это кончилось очень печально. Победа консерваторов в социологии над прогрессистами состояла, собственно, в том, что охранительную составляющую структурного функционализма они смогли представить во внешне марксистских терминах, то есть, совсем уже грубо, продали начальству того же Парсонса как Маркса, но больше замаскированного под охранительский мейнстрим СССР 70-80-х гг., чем это могли и хотели сделать социологические "прогрессисты". Думаю, что столь рационально и чуть ли не цинично, как я это сейчас излагаю, никто не думал. Но в исторической ретроспективе я представляю себе это именно так.

Позволю себе здесь, вместо вольного пересказа, реконструировать очень кратко концептуальную схему той самой книги Руткевича и Филиппова "Социальные перемещения". Конечно, в ней, по всем канонам, дается отпор буржуазным социологам, тому же Парсонсу: "С "функциональной" точки зрения, нет различия между управляющими органами, выполняющими во многом однородные функции в капиталистическом и социалистическом обществах. Но эти функции в социалистическом обществе имеют совершенно иной социальный смысл, чем при капитализме. Вот почему и мобильность должна рассматриваться лишь с учетом ее социальной сущности, а не только как формальное перемещение индивидов на другой "структурный уровень". ... Дело, следовательно, вовсе не в том, что и при капитализме, и при социализме есть "организаторы и администраторы", а в том, в чьих руках, в чьей собственности находится производство, в чьих интересах работают эти организаторы и администраторы, в чьих интересах осуществляется управление и руководство обществом в целом". Мысль о том, что это же самое высказывание можно прочесть в прямо противоположном интенциям авторов смысле, возможно, и приходила им в головы, но мне об этом ничего не известно. Считалось, что формальные сходства между капитализмом и социализмом есть, но сущность социального строя определяют отношения собственности на средства производства. Поэтому то, что по видимости схоже у нас и на Западе, по сути глубоко различно. А почему похоже? Потому что "некоторые общие черты, обусловленные уровнем материального производства, создают сходство ряда тенденций социальных перемещений при социализме и при капитализме"<sup>2</sup>. Это и урбанизация, и миграция сельского населения в города, и рост числа работников умственного труда, и удлинение срока подготовки к трудовой деятельности и многое другое. Но что отсюда следовало? Только

<sup>1</sup> Руткевич М. Н., Филиппов Ф. Р. Социальные перемещения. М.: Мысль, 1970. С. 21.  
<sup>2</sup> Там же. С. 40-41.

то, что при сохранении базовых марксистских представлений (в которых, заметим, марксизма было не так уж много), множество технических средств описания и анализа можно брать у западных социологов и даже развивать для целей продуктивной социологической работы, контактировать и дискутировать с зарубежными коллегами и сопоставлять полученные результаты: "Вопрос об измерении социальных перемещений, будучи уже не теоретическим и идеологическим, представляет самостоятельный интерес и заслуживает особого рассмотрения, тем более что буржуазная социология в этом плане проделала полезную работу, а именно разработала математический аппарат, с помощью которого можно дать количественную характеристику процессам социальных перемещений"<sup>3</sup>, в частности, важны такие показатели, как распределение населения по уровню доходов или зависимость уровня образования детей от уровня образования родителей<sup>4</sup>.

Настаивая на том, что перемещения между отдельными социальными группами носят не просто характер профессиональной мобильности, но именно мобильности социальной (Руткевич и Филиппов предпочитали называть ее "социальными перемещениями"), авторы, конечно, на мой сегодняшний взгляд, прошли буквально по лезвию бритвы. Ведь, казалось бы, чего проще? Есть единый советский народ, состоящий из дружественных классов, причем рабочий — лидирующий. И вот, по мере научно-технического прогресса, количество более хорошо образованных растет. Профессиональные группы занятых квалифицированным трудом увеличиваются, ученых и инженеров тоже становится больше. Конечно, у них там свои потребности и жизненные планы, мотивы, зависимость от образования родителей и многое другое. Но главного это не меняет, потому что переход из одной профессиональной группы в другую — это, примерно, все равно, что повышение квалификации, скажем, с пятого разряда до шестого. И склонность к такого рода трактовкам (я упрощаю, конечно) у многих социологов в это время была. А вот Руткевич и Филиппов настаивали, что группы, различающиеся по уровню образования и характеру труда, — именно социальные группы, а не просто профессиональные. То есть они считали, что меняется именно социальная структура общества, а не просто его профессиональный состав.

Это заставляло решать сложные теоретические проблемы. Например, понятно, что рабочий с неполным средним (7 классов) образованием у станка — это точно рабочий. А если у него образование высшее и он пилот самолета? А если неполное высшее, а он — мастер или бригадир? А если он высшее получил, а потом стал инженером, то, получается, входил он прежде в рабочий класс, самый передовой, а тут вдруг — поднявшись по профессиональной лестнице, перестал? Часть этих вопросов носила, конечно, характер идеологический, в том смысле, что данные социологии, безусловно, важные, надо было как-то совмещать с основной схемой научного коммунизма, посягать на который было немислимо. Но был у всего этого и другой смысл. Можно было попытаться представить себе некую динамику социальной структуры, которая, как утверждалось, имеет тенденцию к увеличению однородности, причем этой однородности не противоречило увеличение уровня образования и квалификации. То есть вот эти самые различия предлагалось трактовать одновременно и как социальные, то есть имеющие отношения к *неравенству*, а с другой стороны, — как все-таки не в том смысле социальные, как при капитализме, но в тенденции становящиеся не более чем профессиональными. Это и была *диалектика*. Различия между разными группами трудящихся росли, поскольку часть из них получала образование все более высокого уровня, но вместе с тем росла и социальная однородность, потому что шансы на получение такого образо-

вания тоже росли. Тут появлялась идея, которую на языке Канта следовало бы назвать регулятивной, идея равенства и справедливости.

Ведь что получалось на самом деле? Прогресс производства действительно требовал квалифицированных работников. Склонность получать хорошее образование, как хорошо известно социологам, достаточно жестко связана с образованием родителей. Интеллигенция становилась все более важной и нужной, да еще и норовила скатиться к самовоспроизводству. Поощрение, поддержка тех, у кого родители не имели высшего образования, могла трактоваться как мера *недемократическая*, потому что место оценки достижений (например, при конкурсах в вузы) занимало при такой поддержке происхождение ("из рабочих", "из крестьян" и т.п.), а кроме того, от такой поддержки страдала, по идее, эффективность производства, науки и техники, которым были нужны квалифицированные кадры, а не кадры с правильной биографией. Но отказ от такой поддержки означал, повторю, вполне естественное замыкание состоятельных и образованных, перекрытие каналов мобильности. Поэтому Руткевич и Филиппов стояли на позициях, которые были также и официально оформлены в СССР: не просто приоритет происхождения, но гибкое управление социальной структурой. Подготовительные курсы для тех, кто по биографическим причинам не может конкурировать с интеллигенцией (а в интеллигенцию включались и партийные управленцы). Поощрение поступления в вузы тех, кто, например, вернется на село агрономом или зоотехником, а не тех, кто получит соответствующее образование, но останется в городе, и т.п. А уже результатом такой активности в сфере образования станет выравнивание образовательного уровня не ущерб эффективности и, в перспективе, усиление социальной однородности СССР.

Отсюда вытекала и управленческая задача социологии, и особая роль образования.

Я помню, что отец вообще очень радовался уже в 80-е, что занялся образованием. Это была идеологически пусть и не нейтральная, но все-таки вполне, как мы бы сейчас сказали, общечеловеческая сфера. Это было то, что примерно или даже очень сильно походило на ситуацию в других странах. Об этом можно было говорить с западными коллегами. Не случайно в мировом сообществе социологов образования Международной социологической ассоциации и, кажется, один срок заместителем руководителя комитета. Когда в 1994 г. я в Англии рассказал Маргарет Арчер о его кончине, она обещала написать об этом в каком-то профессиональном издании, но, по моему, забыла.

Большинство работ отца были именно про образование. Об этом он писал охотнее, чем про социальную структуру, где идеологии было больше, а смысла вообще уже никакого не было. Все закостенело. Я хорошо помню, опять же, по разговорам 80-х гг., когда настроение у него было чаще плохое, что работами об образовании он стремился как-то достучаться до высшего начальства. Но в то время уже никому и ничего было не нужно. Думаю, что формально дела шли неплохо, ему разрешали выезжать, причем, довольно часто. Хотя были случаи довольно гнусные. Например, он так и не побывал в ФРГ, потому что по его приглашению поехал однофамилец, начальник иностранного отдела ИСИ И. Е. Филиппов, алкоголик и доноситель. Но это все были мелочи. Как мелочью, хотя и приятной по тем временам, было награждение премией имени Ленинского комсомола за работы по молодежной тематике. Это был такой способ отметить: в одну премию, в одну строку и на одну сумму загоняли несколько человек. В его год и его строчке, помню, был

<sup>3</sup> Там же. С. 24.

<sup>4</sup> См.: Там же. С. 36.



знаменитый впоследствии генерал Волкогонов. Все эти формальные приятности не отменяли того, что болото остановилось. Ему, с его привычной лояльностью, и то дышать было нечем. Он был человек, в общем, жизнелюбивый, но я, когда уже был аспирантом, не раз и не два уходя из Института домой старался не идти с ним одной дорогой, не пересекаться, такое у него было лицо, когда на него не смотрели, что лучше было не подходить. Впрочем, в те годы дочь Пиамы Павловны Гайденко говорила мне, что когда Давыдов приходит из ИСИ домой, он просто ложится и молчит. Не может говорить. Такая вот странная переключка в реакциях совершенно непохожих людей.

Самая лучшая его поздняя книга — "Социология образования". Она имела успех, он даже готовил ее переиздание, но не успел. Рукопись мы нашли после смерти, через несколько лет моя жена, Светлана Баньковская, подготовила к печати одну из глав. Когда директором ИСИ на волне перестройки стал В. А. Ядов, да и вообще, так сказать, социологический истеблишмент обновился за счет людей того самого круга, который враждовал с Руткевичем и его последователями, мы ждали каких-то неприятностей, но неприятностей особых не было. Отец сделал книгу "От поколения к поколению", она шла очень трудно. Отец работал с материалами госстатистики, с переписью, в том числе и не опубликованными материалами, и редак-

тор издательства "Мысль" требовал у него разрешения из Госкомстата на каждую таблицу. Но когда книга вышла, отец подарил ее Ядову и тот на каком-то совещании послал ему записку, что-то вроде того, что это лучший труд по когортному анализу за последние десять лет. Отец этому очень радовался.

В 1989 г. ему исполнилось 65 лет, предельный возраст для занятия должностей, но в Академии никто на этот счет особенно не беспокоился. Однако же наступили новые времена. Велено было обновляться, его перевели на должность главного научного сотрудника. Он привычно говорил, что так и надо, все правильно, но, конечно, был несколько уязвлен. В феврале 1990 г. я уехал на год в Германию, он заболел месяца через полтора, я видел его еще в марте, в больнице, где никак не могли понять, что с ним. В августе он поехал на очередной социологический конгресс в Мадрид. Была страшная жара, он был уже совсем худой, но бегал по Мадриду, не щадя себя, — давая разрешение на поездку, врач сказала, что это не смертельно. Я рад, что так получилось. Он побывал на ценном для него профессиональном собрании. Он видел один из красивейших городов мира и одно из лучших собраний картин в Эскориале. После возвращения с конгресса он прожил около месяца, не дожив до 66 лет, и не застал крушения Советского Союза, которое, я уверен, обесмыслило бы в его глазах всю его жизнь.